

СЕМИНАР

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ*(18 декабря 2008 г., ИНИОН РАН)*

И.И. Глебова, ИНИОН РАН: Тема сегодняшнего семинара Центра руссееведения – «Революция как проблема русской истории». Докладчик, Владимир Прохорович Булдаков, уважаемые коллеги, вам известен; в специальном представлении он не нуждается. Нашу работу предлагаю построить в традиционном варианте: доклад – около получаса, затем – вопросы и обсуждение.



В.П. Булдаков, ИРИ РАН:

Хотя на предложенную тему мне не раз приходилось говорить, не уверен, что смогу уложиться в 30 минут. Вряд ли помогут предложенные тезисы – они кажутся мне самому довольно корявыми. Поэтому хотел бы на всякий случай отослать заинтересованных лиц к моей одноименной статье в «Вопросах философии» (2009, № 1) и будущей более объемной публикации «Революция как миф и проблема российской истории», подготовленной для ежегодника нашего Центра. Сегодня на проблеме революционного мифа останавливаться не буду – это отдельная, весьма путанная, хотя и по-своему веселая тема. Нет смысла разбирать существующие теории, концепты и концепции – они слишком тесно сопряжены с мифами. Рассказ об историографии революции также получился бы непомерно объемным. Попробую поэтому сфокусироваться на существе проблемы.

Всякий посторонний человек, взявшийся разбираться в проблемах революции, сразу же погрязнет в эмпирическом материале. Я постараюсь дистанцироваться от привычного набора фактов и их интерпретаций. Речь пойдет не о конкретной революции – Февральской, Октябрьской – я буду говорить *о системном кризисе сложноорганизованной имперской системы, его повторяемости в российской истории*. Где истоки такой кризисности, носит ли она генетически предопределенный, врожденный характер? Или, может быть, Россия действительно оказывается жертвой периодических заговоров, как принято считать в известных кругах? Вот об этом и пойдет речь.

На мой взгляд, проблема революции (системного кризиса) – это проблема стабильности (или нестабильности) исторического существования определенного типа государственности. Хочу подчеркнуть, что я начинаю именно с власти, государственности, хотя давно предпочитаю заниматься социальной историей – историей людей, человека.

Что же такое российская государственность с точки зрения ее уязвимости? Представляется, что проблема революции, или, точнее сказать, смуты (я эти понятия разделяю, но в данном случае это не имеет принципиального значения), может быть сведена к поиску в социальном пространстве России элементов, так или иначе провоцирующих и продуцирующих социальный хаос. Тех самых элементов, которые обеспечивают рост так называемых малых возмущений, приобретающих в конечном счете антисистемный масштаб.

Анализ особенностей российской государственности я начал бы с призвания варягов (или, что точнее, соответствующего мифа). Постараемся представить, что власть в России, несмотря на откровенно патерналистский характер ее самопрезентации (и соответствующее восприятие снизу), на самом деле изначально являлась внешней – инородной – для российского социального пространства силой и уже поэтому особенно упорно пыталась казаться «своей», «отеческой», отличной от всякой другой. Строго говоря, «чужая» династия – обычное в истории дело, но в России момент внешнего воздействия играл особую роль. Вспомним слова Владимира Соловьева о русском государстве, которое «было зачато варягами и оплодотворено татарами». Можно сказать в связи с этим, что византийско-православный проект приобрел неадекватную ему монгольскую «кочевническую» систему приказного управления. Говоря об «инородности» российской власти, стоит вспомнить и о том, что со временем бюрократический строй империи стал рекрутироваться из немцев (сначала в широком, затем в узком смысле слова), которые даже во внешнеполитическом ведомстве и армии занимали весьма основательные позиции (символично, что этот фактор столь мощно сработал

накануне 1917 г.). Хотел бы обратить внимание еще вот на что. Как бы мы ни относились к власти, мы постоянно испытываем колебания амбивалентного ее восприятия: какая она – «наша» или «чужая», «хорошая» или «плохая», «настоящая» или «подменная»? Мы постоянно чего-то ждем от власти: то хорошего, то дурного. Это психология «ожидания чуда», отчетливо ориентированная на власть. А представления о власти как механизме, который действует от нашего имени в наших интересах (а по-другому и быть не должно), у нас так и не сложилось.

Стоит задуматься и о другом. Для российской государственности, возникшей на необъятных просторах, которые требовало так или иначе упорядочить, всегда колоссальное значение имел самый что ни на есть прозаический фактор: наличие свободных средств для оперативного реагирования на те или иные угрожающие ей события или явления. Попросту говоря, для России, как тысячу лет назад, так и сейчас, колоссальное значение имела проблема сбора налогов: народ беден, а расходы для его защиты непомерно велики. И здесь татары сыграли весьма конструктивную роль: эту проблему они решили, как успешно (для своего времени) решили и проблему коммуникаций. Для такого рыхлого демотерриториального пространства, как Россия, эти два фактора – основательный бюджет и развитие коммуникации – всегда имели колоссальное значение. И в связи с этим постоянно возникали трудности, которые могли приобрести системный (точнее антисистемный) характер.

Здесь присутствует мой давний знакомый Сергей Алексеевич Королев, известный философ... В свое время он высказал простое, но принципиально важное соображение. Задача российской власти состояла в том, чтобы превратить пространство территорий и социальное пространство в контролируемое и управляемое пространство власти. Иногда это удавалось, иногда эти пространства выходили из-под контроля. На мой взгляд, именно неустойчивое равновесие между крайностями (от застоя к смуте) лежит в основе исторического существования российской государственности, ее временных успехов и периодических кризисов. В той мере, в какой удавалось контролировать эти пространства – территории и пространства людских душ, – удавалось добиваться стабильности системы. Россия всегда балансировала на грани «застоя» и «смуты» – достичь динамичного инновационного развития не удавалось.

Смута – это не совсем революция (или совсем не революция), во всяком случае, любая революция в России вписывается в более длительную полосу «смутного времени».

В связи с этим возникает вопрос: есть ли аналоги такой государственности? На мой взгляд, в современной истории их нет. Если говорить об отдаленном прошлом, то их можно обнаружить. Я имею в виду самую архаичную, самую примитивную форму государственности – государство-склад. Это когда власть забирает весь прибавочный, точнее, произведенный продукт, а затем раздает его по закону первобытной справедливости (в первую очередь, естественно, тем, кто обслуживает процесс сбора-распределения). На мой взгляд, наше государство до сих пор строится на таких архаичных основаниях: собирает (или обирает), а потом раздает. Понятно, что далеко не всех такая государственность устраивает в форсмажорных обстоятельствах.

Из государства-склада естественно вырастает так называемое патерналистское государство (или, что точнее, его образ). Это также весьма архаичная форма господства над людьми – та, которая делает вид, что всех кормит. Она напоминает нечто знакомое по истории восточных деспотий, где все блага жизни воспринимаются как персональный дар правителя. Своего апофеоза «социалистический» патернализм у нас достиг во времена Сталина, но и без него образ «кормящей власти» в российском псевдо-политическом пространстве неизменно доминировал и доминирует. Соответственно этому, для самосохранения государства-склада требуется особый тип веры. По сути дела государственность в России сама превратилась в веру. Конечно, можно рассуждать о православии, относительной веротерпимости имперской власти, но над всем этим, на мой взгляд, довлела вера в саму власть – государственность (относительно независимо от конкретного правителя) подспудно превращалась в объект религиозного почитания.

Каковы исторические ипостаси этого явления, думаю, объяснять не надо, – присутствующим это понятно. Патерналистские системы порождают амбивалентность оценок власти. В любом случае такие специфически иллюзорные представления о ней обычно оборачиваются надеждами на возможность ее мгновенного преобразования – в частности, в связи с заменой правителя своего рода переворотом.

Хотел бы обратить внимание на еще один принципиально важный момент. В России общества как такового вообще не могло сложиться. Современные разглагольствования о «гражданском обществе» – это типичный российский этатистский блеф. Дело не только в том, что государство само

формировало либо «служилые», либо «тягловые» сословия, либо их гибриды. В российских пространствах общества, как такового, объективно сложиться не могло. Могли сформироваться социумы общинного типа, всевозможные сообщества, «светское общество» (как эрзац-общество), «добровольно-принудительные» общества (вроде ДОСААФ), но общества как такового, основанного на гражданской независимости от власти, на мой взгляд, нет до сих пор (назначение сверху Общественной палаты – отличное тому свидетельство). Нынешние разговоры о гражданском обществе – это обычная для нас попытка выдать желаемое за действительное. «Потемкинские деревни» – это тоже наше фирменное know-how. Лично я не вижу никаких оснований принимать всерьез подобные симулякры.

Власть, которая пытается контролировать всю, ею же выстраиваемую социальную систему, сама провоцирует неприменные приписки и всеохватывающую коррупцию. Если все делается через власть, то всякий избыточно (по понятиям власти) активный служилый человек с несколько пошатнувшимися моральными устоями (а к этому подталкивает аморализм самодержца и его ближайшего окружения) испытает соблазн обмана этой самой власти. Если приказная бюрократически-полицейская государственность вызывающе тупа, то искушение надуть ее неистребимо.

Кстати сказать, в последнее время приказную систему основательно идеализируют, упирая на то, что она основывалась не на безличностно-формальных, а на «человеческих» взаимосвязях. Да, действительно, в некоторых случаях приказная система могла быть эффективной. Но для этого необходимы два условия: либо «подмазать» снизу («подьячий любит калач горячий»), либо «надавить» сверху («взять на контроль»). Вот тогда эта система работает относительно эффективно. В иных обстоятельствах ее преимущества сомнительны. Конечно, в силу своей «асимметрии» она порой оказывалась более гибкой, чем министерская регулярная система. Но это не является свидетельством ее исторической перспективности.

Хотелось бы обратить внимание и на другой момент. Существует, как известно, представление о соборном устройстве российской государственности. Я считаю, что это один из мифов, созданных то ли самой властью, то ли ее идеологами. На мой взгляд, налицо стремление романтичных холуев власти выдать желаемое за действительное.

Когда нет альтернативы, когда в низах отсутствует представление о возможности иного устройства власти, возникает именно такая социально-психологическая ситуация. Выдавать нужду за добродетель нам очень и очень свойственно. Соответственно этому власть постоянно выдает желаемое за действительное.

Надо учитывать и то, что обслуживание государства-склада порождало жажду идеала «дающей» или даже «отдающей» власти. Происходила подмена реального воображаемым, чреватая «смуты в умах». В таких условиях жизнеспособность государства могла поддерживаться только особой этактизированной верой. Но такая вера в критические моменты не обеспечивала конкретного правителя остро необходимой сакрализующей подпиткой. Вакуум веры всегда восполняется всевозможными суевериями – к этому мы тоже очень склонны. Всевозможных слухов и домыслов относительно власти у нас всегда было в избытке. Как правило, в критических обстоятельствах россиянин начинает бунтовать и против опостылевшей государственности, и против казенной веры, каких-то ближних «препятствий» – во имя некой идеальной власти и веры, не говоря уже о сообществе земных ангелов, ради которых можно уничтожить «чужого». В современных условиях мы это также хорошо ощущаем.

Уже не раз было сказано, что наиболее революционным слоем в России была, есть и остается российская интеллигенция. Насколько уникален этот феномен? Наверное, уникален: российская государственность попросту не допускает существования независимого от нее человека. Лица свободных профессий неконтролируемы, а потому терпимы лишь в ограниченном количестве. В любом случае они кажутся «опасными». Лица, независимые от государства, российской власти не нужны.

Как зародилась российская интеллигенция? На этот вопрос ответить сложно (помимо традиционных экивоков относительно указа о вольности дворянству), но так или иначе *интеллигенция превратилась в фактор, провоцирующий российскую смуту*. Механизм возникновения смуты известен: маргиналы, диссипанты, диссиденты «сверху» провоцируют маргинализуемые низы. Кстати, Ленин это хорошо понял.

Конечно, когда мы говорим о возникновении революционной ситуации в России, возникает вопрос: с чего все это начинается, когда делается необратимым? Лично я исхожу из того, что искать пресловутую точку бифуркации, при прохождении которой возврат к прежней «стабильности» уже невозможен, – занятие безнадежное и ненужное.

В критических обстоятельствах система, подобная российской, становится слепой: не способна распознать опасности, которые ей угрожают. Она самоубийственно устремляется к собственной гибели. Но не видят этого и ее подданные. Мы, как всегда, не ведаем, что творим.

В российской смуте, в системном кризисе архаичной империи можно выделить лишь отдельные стадии или уровни ее протекания. Об этом я писал не раз.

Прежде всего, я обращал внимание на этический компонент кризиса, за которым следует идеологический, затем политический (точнее псевдополитический) этап развала системы. Принципиальное значение приобретает организационный хаос, за которым следует социальный этап кризиса. И, конечно, после прохождения точки бифуркации наступает полоса господства толп – охлократическая составляющая кризиса империи.

Что случается после этого? Всем известно – ничто так не провоцирует автократию, даже тиранию, как охлократия (явление всегда преходящее). Перебесившиеся массы могут произвести только нового вождя, нового деспота. С этого начинается рекреационное восстановление системы.

В итоге власть (с нашей помощью) воспроизводит самое себя в новом обличье. В этом, на мой взгляд, состоит *суть и проблема русской революции*, проблема *хаотичного самовоспроизведения сложившегося типа государственности*. В XX в. мы уже пережили две такие революционные метаморфозы, но никак не можем поверить, что по природе своей они однотипны.

Конечно, сегодня многие авторы соглашаются, что Россия пережила три системных кризиса – первый в начале XVII в., два последующих – в начале и конце XX в. Кстати, вялотекущий характер последней смуты связан со «старением» населения. В начале XX в. мы имели нечто противоположное: «омоложение» населения в результате демографического взрыва. К этому надо добавить, что если кризис начала века был вызван Первой мировой войной, то в конце столетия более основательно сказались внутренние последствия «холодной войны». Россия, проиграв «холодную войну», все еще пребывает в состоянии непреодоленной смуты.

Можно последовательно показать однотипный характер протекания всех российских смут. В нескольких словах я попытаюсь это сделать.

Что такое этический кризис власти? Он начинается с того, что кто-то во всеулышание заявляет верховному правителю: ты правишь не по-христиански, не по-людски. Тут можно выстроить ряд знаковых фигур, начиная с Андрея Курбского, включая Радищева, заканчивая Солженицыным (также призвавшим «жить не по лжи»). Разумеется, нравственный натиск на систему имел очень ограниченное конкретное «революционное» действие. Он мог сказаться в полной мере позднее, при определенных условиях. Вот тогда моральное обличение власти приобретает идеологическое качество. Затем власти представляется некий конкретный план ее трансформации. Происходит политизация нравственного императива. Мне трудно судить детально о том, что происходило в XVII в., но применительно к началу и концу XX в. картина ясна. Авторитаризму противопоставляется демократия, точнее – миф о демократии.

Кризис углубляется по мере того, как в борьбу вступают политические партии. Надо сразу заметить, что реальной альтернативы существующей власти они предложить не могут – им не на что опереться, кроме окол властных структур. Партии воспроизводят картину интеллигентского мировосприятия, а не жизненные реалии, не интересы несуществующего общества, а иллюзии разрушаемых сословий и мнимых классов. Но они выступают мощным катализатором организационного развала системы. Можно показать это на простом примере. В период Первой мировой войны территория Российской империи оказалась поделена на зоны военного и гражданского управления. Помочь власти были призваны Земский и Городской союзы, а также военно-промышленные комитеты. Возник парадокс: либералы за казенный счет начали критиковать систему управления изнутри нее. Конечно, в таких условиях государство со своими обязанностями не справилось.

Во время войны колоссальное значение приобрела сложнейшая для России проблема снабжения населения. Инфраструктура оставалась слабой. А между тем требовалось переориентировать основные (прежде всего хлебные) грузопотоки с востока на запад (раньше в европейской части империи они шли преимущественно по линии север–юг). Эта проблема осталась

неразрешимой, что повлекло за собой продовольственные неурядицы. (Подобная ситуация, кстати, знакома нам по недавним временам – кризис распределения не случайно влечет за собой новый развал системы.) Реакция масс оказалась характерной. Последовала серия бунтов, обернувшихся кризисом самой власти – в критический момент она не смогла ни накормить, ни защитить, ни даже создать иллюзию того и другого. Вслед за тем те или иные социальные слои пытались перейти на режим самообеспечения. Это не удалось. И вот тогда наступил охлократический период смуты, когда власть способна только имитировать свое присутствие (причем массы ей в этом невольно, но активно помогают).

И только когда энергия социального хаоса исчерпана, начинается рекреационный период смуты – власть набирает силу. Происходит «чудо власти». Связано это с тем, что интеллигенция творчески иссякла, массы исчерпали потенциал самоорганизации – и без того слабый. И когда массы обессилели, радикальные лидеры обескровили друг друга, власть постепенно вновь становится Властью.

Все это настолько напоминает 1990-е годы, что от комментариев можно воздержаться.

Можно сказать, что проблема российской революционности связана с «революционностью» самой власти – ее бесконтрольность оборачивается тем, что неосторожные шаги становятся шагами в пропасть; через интеллигенцию она невольно, но постоянно провоцирует народ на смуту. Возникает вопрос: есть ли этому альтернатива? На мой взгляд, она все еще не просматривается. Если нет общества, людям не на кого надеяться, кроме правителя.

Власть-диктатор, она же власть-хамелеон, лишённая нормальных общественных институтов, изначально неустойчива (хотя ей приписывают тоталитарные качества). Иной она быть не может, ибо соседствует с хаосом, а не ведет диалог с обществом. Система, о которой шла речь, может качественно преобразоваться – не важно, будет это революция или нет, – лишь на клеточном уровне. Только люди, которые знают, как можно организовать помимо власти, независимо от власти, вопреки власти, могут постепенно создать структуры и иерархии, которые действительно станут опорой государственности.

На этом, пожалуй, все. Спасибо.

И.И. Глебова: Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы.

? **О.Ю. Малинова,** ИНИОН РАН:

Спасибо большое за очень интересный доклад. Хотелось бы уточнить. Ваша схема – это видение ситуации, так сказать, изнутри: есть некий социальный организм – и мы прослеживаем логику его существования. Я бы даже не назвала это эволюцией: ведь получается, что *он воспроизводит одни и те же способы существования во времени. Что-то, конечно, меняется, но какие-то структуры вновь и вновь возобновляются.* Мой вопрос связан вот с чем. Хорошо, допустим, что в России есть такая тенденция к воспроизводству. Но ведь Россия существует не сама по себе. Это пространство, географическое и социальное, включено в сложные мировые связи. И совершенно очевидно, что на протяжении тех промежутков времени, о которых мы говорим, окружающая среда менялась. Как, по-Вашему, происходившее в России и с Россией, связано с тем, что происходило вовне? Поясню вопрос. Мне-то кажется, что феномен русской революции может быть понят только в связи с тем, что она включена в определенные связи. Вне этого контекста очень сложно выявить природу именно данного социального явления.



В.П. Булдаков:

Я Вас понял. Спасибо за подсказку, этот момент в докладе я упустил. На мой взгляд, ответ довольно прост. Поскольку система строится на самодостаточных автаркистских принципах, любое внешнее воздействие изнутри нее воспринимается как «чужое». В этом есть доля истины: *инновации способны сыграть разрушительную роль в архаичной социальной среде.* Уцепившись за русскую почву, «чужие» идеи действуют подобно вирусу, против которого нет иммунитета. Воздействие окажется особенно разрушительным, когда система находится в ослабленном состоянии. Власть это всегда сознавала и сознает. Отсюда культивирование образа врага. Без образа врага – не только внешнего, но и внутреннего – российская власть существовать попросту не может. Если его нет, она его создаст. На эту тему можно привести массу примеров, включая курьезные, когда совершенно ничтожные явления воспринимаются как серьезная угроза – муха вырастает до размеров слона.

Власть в России постоянно пребывает в напряжении, постоянно чего-то боится. Из чувства опасности со стороны она постоянно мимикрирует, копирует внешние образцы, чтобы скрыть свою примитивную природу. Конечно, правители хотят выглядеть и цивилизованными, и современными. Но это не меняет сущности власти. Я даже употреблял такой термин: государство-хамелеон, государство-симулякр. К этому остается добавить, что, если внешний кризис срезонирует с кризисным ритмом российской истории – последствия будут катастрофичными.

? **И.И. Глебова:**

Вы сказали, что власть (такой тип власти) постоянно находится в напряжении, не может существовать без образа врага. Но ведь запущенный властью образ врага находит какое-то встречное – внутри социума – напряжение. Можно ли сказать, что властный образ врага не может существовать без типологически подобного народного образа врага – и наоборот? То есть это общие, объединяющие образы, позволяющие говорить о единстве социальной природы, о внутреннем подобии власти и народа? Ведь народ тоже все время в напряжении, чего-то боится и способен мимикрировать. Что это – одноприродные явления или власть симулирует эту одноприродность? У нас ведь все время говорят: всё власть, власть плохая, она ведет – и известно куда заводит. И из этой ситуации совершенно вытеснен народ: он пассивен, объектен, безвинен. А вся Ваша «Красная смута», Владимир Прохорович, – она о народе. И очень он некрасиво выглядит в той смуте, страшно, я бы сказала. И в 90-е, уже в другой смуте, он выглядел некрасиво. Так вот, мой вопрос: властные и народные образы врага – это единая система? И как такие образы формируются – снизу или сверху?



В.П. Булдаков:

Образ врага, конечно, формируется и снизу, и сверху, иначе быть не может. Он и без того перманентно присутствует внизу, в традиционном сознании. Наше «общество» (социальное пространство) до сих пор традиционно, в этом ничего самоуничижительного нет. Японское общество, к примеру, куда более традиционно, но оно высокоорганизовано, причем организовано на совершенно иных, неевропейских основаниях – через организацию пространства и этатизацию семейных связей. Это куда ближе патерналистским «идеалам». У нас такого нет. В любом традиционном или посттрадиционном обществе в большей или меньшей степени доминирует так называемое синкретичное сознание, в котором рациональное и магическое не отделены друг от друга. Отсюда образ врага, всегда изоморфный нечистой силе. Наше массовое сознание – это питательная среда для постоянного воспроизводства образа «чужого». Если образ врага в нужный момент подсовывается властью, большинство готово проявить себя в рамках известного сценария: «Не читал, но знаю». В этом ничего удивительного.

Относительно того, что в моей «Красной смуте» народ выглядит не очень прилично... Ну, кто и как в это дикое время будет прилично выглядеть? Одиночки-идеалисты? «В революции в человеке просыпается не только зверь, но и дурак» (П.Сорокин). И вовсе не удивительно, что на этом фоне произрастают самые «светлые» утопии. Синкретичное сознание это допускает – более того, требует существования рядом с Богом дьявола. Все это естественно и закономерно.

? **А.С. Сенин,** Историко-архивный институт РГГУ:

У меня два вопроса, разных. Вы, наверное, знаете, что Герберт Уэллс писал о России: если бы любая европейская демократическая страна оказалась в таких условиях (внутренних и внешних), как Россия, то правительство действовало бы точно так же. Я хотел просто комментарий услышать.

И другое, самое главное. Когда мы говорим – власть, то подразумеваем, что это какие-то конкретные люди. И мы видим, что накануне смут всегда появлялись люди из окружения власти, из бюрократии, которые четко предсказывали, как будут развиваться события. Так, например, накануне «смуты 90-х» собрались хозяйственники в Алма-Ате и буквально по месяцам расписали, как все будет происходить. Все так и случилось. Почему власть к своим не прислушивается, к своему кругу? Понятно, что людей из оппозиции можно проигнорировать. Но ведь свои же предупреждают, часть этой же элиты.



В.П. Булдаков:

Начну с проблемы предсказаний. Наша власть, конечно, обладает колоссальной инерционностью (под стать нашему собственному сознанию). Ну, допустим, сценарий дурного

развития убедительно предсказан. Но что делать? И тут выясняется, что механизма ухода с предсказанного пути к определенному моменту уже не существует.

Да, сценарий 1917 г. был предсказан, все его знали. Во времена Горбачева было то же самое. Его предупреждали, но он гнул свое: мы на правильном пути, альтернативы нет, «верной дорогой идете, товарищи». И это не просто череда «мистических» совпадений. Действуют механизмы, слишком сложные для наших нынешних аналитических возможностей. Но можно сказать, что к определенному моменту власть уже не знает, как уйти от опасности, как объехать камень или мину на «верном» пути. Да и не может. Возникает ситуация «кролик перед удавом». Это состояние ступора власти, психосоциальный механизм которого для меня не ясен.

Что касается правительства (имеется в виду демократическое), которое действовало бы в определенных обстоятельствах на манер большевиков... Ничего удивительного: демократическая власть вырастает из более примитивной системы, и в «тупиковых» обстоятельствах, которые люди постоянно создают, требуется откат назад. Другое дело, что демократическая власть умеет себя ограничивать, лишь временно усиливая свою авторитарную составляющую. Выход из кризисной ситуации бывает примитивным, по преимуществу силовым, это естественно. Но, если в авторитарной системе на это согласятся из незнания иного выхода из кризиса, то в демократическом обществе авторитаризм терпят как нечто временное – вроде горького лекарства. Там возврат к демократии происходит словно сам собой. Напротив, наша система постоянно продуцирует новые формы авторитаризма или оттачивает старые. Вот так я мог бы ответить на этот вопрос.

? **Ю.И. Игрицкий**, ИНИОН РАН:

У меня два вопроса. Один относится к ключевой, важнейшей теме – место России в мире. Один из аспектов темы – влияние мира на Россию. Собственно, этот вопрос уже был озвучен и на него дан ответ. Второй, еще более важный аспект этой темы – соотношение, взаимосвязь процессов, которые происходят в России и в мире. Это проблема аналогов, которую Вы затронули, сказав, что в мире мало аналогов Российскому государству и общества у нас не было. Стало быть, было то, что условно можно назвать биомассой или чем-то еще, но это совсем не то общество, которое знает европейский мир. Это вопрос концепций, терминологии. Вообще говоря, это важнейшая терминологическая проблема. Более конкретный вопрос: а есть ли в мире аналоги смуты? Ибо если государство Российское не имеет аналогов, если не было еще смут таких, как в России, то где же мы оказываемся? И настолько ли мы уникальные и особенные, что к нам нельзя примерить никакие концепции и теории? Ведь если так, то теории революции и теории государства, которым нас учили, к нам просто неприменимы. Как быть?



В.П. Булдаков:

Действительно, как быть с терминами, порожденными иной социальной средой, в наших условиях? Вопрос «значения значения» возникал всегда и везде в любой культурной, особенно кросскультурной среде. Надо обладать определенными ментальными навыками, чтобы в обстановке терминологического словоблудия не растерять реальные смыслы. Можно говорить «революция», а подразумевать русскую смуту; можно говорить «общество», зная, что настоящего общества нет. Это скорее проблема гибкости мозгов, нежели проблема понятийная. К сожалению, мы склонны «материализовывать» то, что относится к области идеальных типов. «Цены метафоры» мы не ощущаем.

Относительно аналогов в истории. По-моему, западное Средневековье дает массу аналогов российским смутам. Возьмем большевистскую революцию – намного ли она отличается от богомильского эксперимента или анабаптистской ереси? Всем известный Андрей Платонов в сущности описал русскую революцию на языке анабаптистского экстремизма. Такие метафоры оправданы применительно к любой взбесившейся (с помощью утопии) архаике. Духовных «аналогов» русской революции очень и очень много, особенно применительно к западной истории XII–XVI вв. Другое дело, что надо постоянно иметь это в виду и мысленно корректировать понятия, которыми мы обычно оперируем. Вот и все.

? **А.В. Гордон**, ИНИОН РАН:

А почему аналоги только средневековые? А Новое время? Французская революция – это не аналог?



В.П. Булдаков:

Русскую революцию постоянно сравнивали с Французской. Я пытался делать то же самое. На мой взгляд, Французская революция куда более рационалистична и целенаправленна. Различные сословия выстраивали свои собственные «революции», они куда лучше знали, чего хотят, и, главное, куда меньше надеялись на власть. При всей близости утопий верхов разница между конкретными лозунгами французских и российских низов весьма существенна. Во Французской революции идея нации совершенно не случайно родилась из перетряски сложившихся сословий. Напротив, российская революция – это смена декораций, прикрывающих тело традиционной империи. Убрали негодных помещиков и чиновников, дали землю крестьянам. Что изменилось? Советская номенклатура, как и колхозное крепостничество, – явления знаковые.



И.Л. Беленький, ИНИОН РАН: Разве интеллигенция не входила в состав служилого сословия?



В.П. Булдаков:

На мой взгляд, совершенно не случайно в советское время интеллигентов причислили к служащим. Рядом оказывались и парикмахеры, и официанты, и чиновники, и просто образованные люди. Так было удобно власти. На деле интеллигенция постоянно отпочковывалась от слоя образованных людей. И она по-прежнему делает это вопреки власти и даже собственному желанию. Тот, кто пытается мыслить независимо, независимо от образования уже рискует оказаться интеллигентом.

Ясное дело, писатель, который сочиняет романы, не принадлежит к чисто служилому сословию. Точнее – он не вполне служащий, ненадежный служащий, «потенциальный Пастернак». Я как-то писал, что интеллигент в России «челночит» между двумя состояниями: от наемника власти, восхваляющего ее с кафедры государственного вуза, до собственно интеллигента, пьющего чай на кухне и от души поносящего ту же самую власть. На службе он делает то, что ему положено, пусть ругая начальника, который заставляет это делать. Вернувшись домой, он превращается в «настоящего» интеллигента, который начинает обличать весь существующий строй, а не просто начальство. Очень известное состояние. Власть иногда это использует, ничего удивительного, так бывало всегда. Приглядев некоего «диссидента», сделает его губернатором, глядишь, получится неплохой служилый человек, который своих бывших товарищей быстро и умело скрутит в бараний рог. Обычная история, к сожалению. Но часто бывает наоборот: кому-то в известное время начинает надоедать служить негодной власти – сановник становится диссидентом.

? **В. Аксенов, МИРЭА:**

Вы в своих тезисах сказали о повторяющейся революции (или смуте). При этом, вносит ли российская история в каждую новую смуту что-то принципиально иное? И если что-то новое появляется, есть ли смысл у смуты и в чем он? На кого смута направлена? Кого она должна чему-то научить – власть, общество, какие-то средние слои? Спасибо.



В.П. Булдаков:

Что касается истории – не только нашей, но и вообще, – то, на мой взгляд, это обучающий процесс. Она «учит», но не находит достойных учеников, умеющих правильно прочесть предложенный текст. Во всяком случае – нужного их количества. И до сих пор история мало чему научила. Научит ли чему-либо в будущем – трудно сказать. Человеческий век очень короток – большое историческое время воспринимается с трудом. Существует наивная психологическая убежденность, что каждый живет в «особом» времени. Как вообще в быту руководствоваться критериями и понятиями большого исторического времени? Онтологически это кажется неразрешимым. А потому мы постоянно наступаем на грабли, притаившиеся в траве забвения. Не только мы, в России, – все и везде. Не хочешь получать по лбу – учись, учись и учись. Ленин правильно сказал. На мой взгляд, это единственное, что он сказал выдающегося. Разумеется, если убрать из известной фразы слово «коммунизм». Но как освоить весь предыдущий опыт человечества, если герменевтике в школе не учат?

? **В.П. Любин**, ИНИОН РАН:

В самом начале своего замечательного доклада Вы назвали параметры системного кризиса, который, наверное, представляет собой перманентное явление в российской истории. Естество берет свое, как тот же самый Андрей Платонов, процитированный Вами, сказал.

В отношении кризиса Вы предложили следующие определения: врожденный, случайный или заговор. Из вашего доклада получается, что врожденный. Значит, если говорить о 1917 г., мы отмечаем элемент случайности? Т.е. Ленин – это не случайная фигура и слишком просто все объяснять заговором, «золотым немецким ключом» большевиков?

И второе. Правда, коллеги уже задавали эти вопросы. Конечно, Россия существует не в пустоте, не в вакууме, поэтому интересен сравнительный анализ. Есть же сравнительная политология – можно и сравнительную историю методологически подключить к объяснению феномена революции. Скажем, бельгийская революция 1930 г., отделение Бельгии от Нидерландов – очень похожее явление. Или феномен патернализма, присущий европейским государствам – скажем, той же Италии, особенно южной ее части (в северной – другая история). Вот, в Италии сейчас очень моден роман «Гомогга», где весь этот патерналистский контекст освещается. Наверное, скоро и до нас дойдет – частями он уже опубликован в «Иностранной литературе». Это анализ литератора – как существует и действует современная экономика, но анализ социологически очень интересный. Фильм по этой книге, кстати, уже какой-то первый европейский приз получил. Вот, интересно посмотреть, как в других странах задействованы те же самые патернализм и другие параметры, провоцирующие кризис. Как Вы думаете?



В.П. Булдаков:

Я могу прокомментировать все это очень просто. Наши мозги устроены по «принципу узнавания» – обращаясь к чужому опыту, мы находим больше аналогий, чем их существует в действительности. К тому же мы всегда скользим по внешней канве событий – аналогии оказываются поверхностными. То же самое относится к сфере соотношения случайного и закономерного. Я всегда говорил, что закономерность напоминает о себе через случайность. Случайность – это намек на возможность расшифровки всего сущностного текста истории. Случайность, что Ленин родился во вполне благополучной семье (мгновенно ставшей неблагополучной)? Скорее это не случайно, а символично. Он был востребован российским хаосом в качестве разрушителя, хотя от рождения ему было написано, казалось, совсем иное. На очень короткое время был востребован и Троцкий, человек также из состоятельной семьи. Оба они не столько маргиналы, как диссипанты, – люди, «отвязанные» от своей среды. В определенные времена едва ли не всех «среда заедает», в другие – появляется целая туча эмоциональных разрушителей окружающего социального пространства. За ротацией случайных, на первый взгляд, революционных лидеров (которые в своей среде смотрятся вовсе не случайно) скрывается некий объективный процесс.

Из этого возникает простой, но для нас «вечный» вопрос: а куда отнести заговорщиков и заговоры? Они всегда существуют, сомнений нет! Ну и что? План какого-нибудь антиправительственного заговора можно сочинить хоть сейчас. И что из этого получится? Киносценарий? В истории настоящие заговорщики должны быть востребованы (правда, тогда они уже больше не заговорщики). Перед Февральской революцией Россия кишела слухами о заговорах, но это было пустое сотрясение воздуха – крах подобрался к династии совсем с другой стороны. Тем не менее *нашему сознанию нужны коварные, вездесущие и всемогущие злодеи, как дикарю нужна нечистая сила*. Именно поэтому мы готовы из ничтожной фигуры исторически бесхозного инсургента сотворить всесокрушающее inferнальное существо. Я сам бы охотно подался в конспирологи (в нашей одурелой среде это выгодное занятие!), если бы не был убежден, что за любой конспирологической «теорией» революции стоит доисторический испуг троглодита перед непонятным для него окружающим миром. Такова врожденная особенность, если не родовая травма нашего сознания. Пора от этого избавляться. А желающих перевернуть мир всегда хватает – человек так устроен.

Относительно исторических «пережитков» или «возвратов» патернализма везде и повсюду. Они неизбежны, как неизбежны откаты от цивилизационных (в том числе и формально-демократических) «переусложнений» к простым и более понятным отношениям власти–подчинения.

? **С.А. Королев**, Институт философии РАН:

Можем мы более жестко дифференцировать государство и власть? И нужно ли это делать? Понятно, что это дело непростое. Естественно, любая власть стремится идентифицировать себя с государством. Это совершенно очевидно. Но в российской истории мы можем определить несколько точек, где очень четко фиксируется противоположность интересов власти и государства. Я назову три таких точки: опричнина, т.е. разрушение государства гипертрофированной властью, затем Ленин с Брестским миром и гипотетически, может быть, начало 1990-х, когда власть сумела сохранить себя ценою разрушения государства. Последнее гипотетично, поскольку это еще слишком близко, т.е. пока не история. Я могу предположить, что революция, помимо всего, – это отношения государства и власти. И в рамках этой темы, как мне кажется, есть какой-то исследовательский резерв. Для меня важна дифференциация этих вещей. Вот, Владимир Прохорович <Булдаков> говорил о пространстве власти. Но для меня этот термин имеет смысл только в том случае, если мы дифференцируем государство и власть. Потому что пространство власти – это территория, стратифицированная технологиями. В России это, прежде всего, локализация. Крепостное право – это технология локализации, которая применена на местности.



В.П. Булдаков:

Даже и не знаю, с чего начать. В российских условиях четко дифференцировать власть и государственность довольно сложно – в действительности все очень зыбко. Именно потому от сложностей реальной жизни мы зачастую прячемся за всевозможные абстракции и антитезы. И тем не менее я согласен, что за властью и государством даже у нас стоят более или менее фокусируемые смыслы. Если власть – это в основном ощущение силы, то государство – это главным образом технологии управления. Сравните английские *power* (сила, мощь, власть, держава) и *state* (состояние, положение, государство). Разумеется, эти понятия и у нас являются разноплановыми: проще сказать, что со времен князя Потемкина мы имеем власть-театр и власть-аппарат. Но во времена, о которых идет речь, власть обычно воспринимается как идеал, а государство как ее несовершенное (и даже негодное) воплощение. Я не берусь судить, насколько власть и государство разошлись во времена опричнины – в конце концов, я не специалист по этой теме, а историков, которые бы четко ответили на этот вопрос, я не знаю. Но, боюсь, если бы мы заглянули под черепную коробку Ивана Грозного, у нас пропала бы охота разделять власть и государство. Мне кажется, что с точки зрения тогдашней власти опричнина была технологией укрепления государства. Это сегодняшним правоведам может показаться, что для тогдашней власти это был чистый раздрай, нелепость.

Надо учитывать и то, что в основе смуты, о которой я говорю, лежит синергетический процесс «смерти-возрождения» системы. А уместно ли самоорганизующийся хаос описывать на языке формально-юридических понятий?

Позволю себе несколько подробнее остановиться на ситуации Брестского мира. Возможно, это и есть пик русской революции: бунтующий охлос напоролся на российское историческое представление о власти. Конкретной же революционной власти (кстати, и в большевистском ЦК и СНК сидели одни и те же люди) пришлось решать уравнение с многими неизвестными. Ленин сделал ставку на сохранение государственности (и собственной власти) любой ценой. Идея власти с идеей мировой революции здесь основательно разошлась. Возможно, Ленин и Троцкий были уверены, что Германия непременно проиграет. Что делать в таких условиях? Продолжать держаться затратного курса на мировую революцию или очертить пространство собственной власти, т.е. не просто сохранить, но и усилить ее в тех же самых глобалистских интересах. К тому же надо учитывать, что тогдашняя власть мыслила себя не в категориях государственности, какого-то механизма – она ощущала себя в ином (революционно-разрушительном) измерении. Конечно, Брестский мир – важнейшее событие русской революции.

Что касается современности, то здесь гадать сложно. Во всяком случае, я не взялся бы утверждать, что власть сумела сохранить себя ценой разрушения государства. Можно сказать по-другому: для нашей власти государство – это аппарат ее самообслуживания, с которым можно поступать соответственно («назначенчество»). Современный российский правитель может быть крайне недоволен (на манер Ленина) аппаратом управления, т.е. государством. И этот – весьма сложный и болезненный – конфликт возникал и возникает постоянно. Российская власть (вместе с подпирательной ей государственностью) сама по себе внутренне конфликтогенна, о чем я уже, кажется,

говорил. Что касается жесткого дифференцирования власти и государства, боюсь, такие схемы в нашем псевдополитическом пространстве познавательного малопродуктивны.

? **С.А. Королев:**

Вы сказали, что очень сложно говорить о современности. Мне-то кажется, напротив. Предположим, мы принимаем положение: государство – это в значительной степени система институтов, а власть – это система технологий. Тогда мы увидим, как на протяжении последних десятилетий демонтируется вся система государственных институтов, которая как-то связана с гражданским обществом: выборы, парламентские институты, партийная система и т.д. С демонтажем государственности гипертрофируется власть, укрепляется политический режим. Это же очевидно. И что здесь такого сложного, о чем нельзя сказать достаточно определенно?



В.П. Булдаков:

Я только и делаю, что доказываю: наша власть постоянно занимается одной и той же процедурой – пилит сук, на котором сидит, полагая, что «укрепляет вертикаль». Откуда такие самоубийственные замашки? Как такое может быть? Может потому, что государство (аппарат), построенное сверху, всегда будет стремиться действовать в своих ближайших интересах. От однообразия процедуры постоянного обмана и самообмана, конечно, можно свихнуться. К тому же власть также предпочитает самообслуживание, полагая, что это вернейший способ служения интересам народа. Все точки недовольства могут сойтись на государстве. Наши правители говорили и говорят: «Аппарат у нас негодный!». Совершенно так же рассуждают обыватели по поводу чиновников. Строго говоря, и правитель, и народ хотели бы общаться без посреднического аппарата. Почему, откуда сей парадокс? Потому, что наша система, вновь подчеркну, выстроена *сверху* на крайне примитивных основаниях. Социологи, описывая ее на языке современных социологических понятий, занимаются самообманом.

И.И. Глебова: Коллеги, мы подменяем вопросы обсуждением. Давайте, завершим один этап работы, а потом перейдем к другому. Предлагаю выяснить, есть ли еще вопросы.

? **В.М. Шевырин, ИНИОН РАН:**

Доклад Владимира Прохоровича <Булдакова> имеет свои достоинства, а о его недостатках я могу сказать только самое хорошее. Он в лучшем смысле слова провоцирует на размышления. Поэтому, вероятно, задавалось так много теоретических вопросов. Говорят, нет практики без теории. А последняя потому нас так тревожит, что практика «достаёт». Однако я вернусь к конкретике, к близкой мне теме. Мне очень импонировало то, что Вы упомянули Земский и Городской союзы. Это огромный пласт конкретной истории. Мне хотелось бы услышать, какую роль сыграли Земский и Городской союзы в той страшной катастрофе, которая произошла в 1917 г. Мне приходилось читать западные газеты того времени. Англичане, например, говорили: если бы у нас были такие Земский и Городской союзы, если бы вся власть поднялась до таких высот, которых достигла российская общественность, у нас все было бы иначе – мы гораздо раньше и с меньшим напряжением сил выиграли бы войну. Действительно, Земский и Городской союзы сыграли, на мой взгляд, огромную роль. Мне бы хотелось услышать мнение такого специалиста, как В.П. Булдаков, по этому вопросу.



В.П. Булдаков: Мне следовало бы переадресовать этот вопрос Вам: из чего состояли бюджеты Земского и Городского союзов? Пожертвования – раз...

? **В.М. Шевырин:**

Государственные средства, действительно, играли самую большую роль. Но это еще ни о чем не говорит. Ответственные за распределение этих средств говорили, что готовы дать в десять раз больше, лишь бы Земские и Городские союзы строились на принципах гражданского общества. Ведь это давало возможность создать административную систему, которая пользовалась бы автономией и была независима от губернаторов и пр.



В.П. Булдаков:

В своем ответе я могу опираться на труды самого В. Шевырина и еще, пожалуй, на работы нашего японского коллеги К. Мацузато. Последний детально проследил, как разрастался этот «гражданский» бардак. У меня несколько иной ответ на этот вопрос. Мне кажется, обладай Земский и Городской союзы много большими, а главное, не казенными средствами, тогда можно было бы говорить об альтернативе существующей государственности. А поскольку было с точностью до наоборот... Любят ли у нас тех, кто дает деньги на какой-то проект? Деньги любят, но дарителей...

Стоило бы учитывать и еще один весьма специфичный момент. Мы постоянно говорим о земском и городском *самоуправлении*. Но ведь оно в действительности было частью *государственного управления*. Самоуправление у нас было довольно специфичным – целиком и полностью находилось под контролем государства. Утверждать, что эта система была огосударствлена, как, например, большевики огосударствили профсоюзы, конечно, нельзя, но сходная тенденция ясно просматривается. Всю общественную самодеятельность государство всегда старалось поставить под собственный контроль и доводило это до абсурда. Земские и городские деятели прекрасно понимали, с кем имеют дело.

Со своей стороны, министры, которые давали деньги «общественности», искренне считали, что в союзах сидят либералы, заговорщики, антигосударственники – они ненавидели тех, с кем вынуждены были сотрудничать. В такой обстановке общественники, конечно, начинали работать против бюрократов, используя государственные деньги.

? **Ю.С. Пивоваров, ИНИОН РАН:** У меня два вопроса. Вы сформулировали тему доклада «Революция как проблема российской истории». При этом говорили в целом и о российской истории, и о наших революциях. А что, вся русская история настолько едина и неизменна, что о ней можно говорить как о некоей постоянной «величине»? Если она не менялась, тогда истории, собственно говоря, нет. Без изменений вообще ничего нет. О чем тогда говорить? Если все обусловлено и изначально циклично – революция и смута (имеются лишь какие-то разные их формы), – то что, собственно, тогда изучать? Мы ведь все уже знаем. Так ли это? Вот, говорят в ряд, через запятую: опричнина, Смутное время, смута 1917 г. – это что, всё одно и то же? Мой вопрос: меняется ли все-таки что-то в русской истории?

Второй вопрос, более мелкий. Революции в нашей истории – что, тоже одинаковые? Для меня, например, 1905 г. и Февраль 1917 г. – совершенно разные революции. А Октябрь 1917 г. – это вообще что-то совершенно другое. А когда еще была, кстати, революция в России? Имеет ли смысл вообще говорить о революции как вечной проблеме российской истории?

Причем революция – это же довольно опасный термин. Вот, мы сегодня говорили о государстве и власти. А почему государство должно быть парламентским или демократическим? Это касается и революции – на каком основании мы называем одним словом совершенно разные явления? Что тогда революция? Если революция – всегда одно и то же, зачем ее изучать – мы же знаем все. История и революция – это вечные и определенные формулы. Все. Вот, как Вы – Владимир Прохорович Булдаков, так русская история и революция – просто данность. Точка, приехали – просто не о чем рассуждать, нечего изучать. Заметьте: эти вопросы я задаю автору «Красной смуты» – не просто лучшей русской, но и вообще лучшей книги о революции.

? И.Б. Чубайс, РУДН:

Я из Центра по изучению России РУДН. Не могли бы Вы выделить хотя бы два типа революций? Если пользоваться Вашей терминологией, получается, что один тип – это смута: государство нормально работало, но вдруг произошел какой-то сбой и механизм надо подтолкнуть. Вот, пресеклась династия Рюриковичей, а Романовых еще не было, – нужно было их избрать. Второй вариант – когда государство перестает работать; его не подталкивать надо, а производить какие-то радикальные изменения. Тогда то, что происходило в 1917 г., – это не продолжение того, что было. Вероятно, нужна была глубокая реформа, либо полный разрыв с прошлым. Если, конечно, не было альтернативы. На мой взгляд, была: если бы Столыпин (как явление) «победил», мы бы жили в другой стране.



В.П. Булдаков:

Юрий Сергеевич <Пивоваров>, в ответ на Ваш вопрос о том, что менялось и не менялось в результате революции, мне проще было бы процитировать М. Волошина («Северо-Восток»). «Знаки и

заглавья» менялись – так и было. Я с ним солидарен. Возможно, он – безответственный поэт. Тогда я – безответственный исследователь. Но почему обществоведы имеют обыкновение убегать от метафор? Вероятно, потому, что они выходят за рамки их аналитических способностей. У нас постоянно меняется форма, но что касается существа... Конечно, проще верить в то, что форма соответствует содержанию. Но не принимаем ли мы при этом всерьез очередную «потемкинскую деревню»? Конечно, *трудно поверить, что все мы находимся (пока) во власти традиционной цикличности, хотя ее внешние проявления различны*. Менялись и меняются лозунги, но надо ли их прочитывать буквально? Российские смуты надо изучать и изучать, а мы вместо этого подменяем их хаотичные реалии химерами собственного (политологического, как раньше марксистского) воображения. Лично мне кажется, что *во всех российских смутах куда больше сущностного сходства, чем внешних различий*.

Конечно, хотелось бы верить, что мы сами все-таки меняемся – это единственная гарантия качественного развития. Однако исследователь былой смуты, пережив очередную смуту, вряд ли поверит в ближайшую возможность принципиальных политических изменений в России.

Что касается типов революций... В школе я учил, что бывают революции буржуазно-демократические, но лучше их – социалистическая. Занявшись изучением и той и другой, я понял, что события 1917–1920-х годов укладываются в некий единый процесс «смерти-возрождения» империи – нечто подобное случилось в XVII в. Падение самодержавия можно назвать той «точкой невозврата», после которой Октябрьская революция сделалась практически неизбежной. Впрочем, это даже Солженицын заметил.

Другое дело, что этот процесс мог развернуться по-разному. Не будь, к примеру, выступления Корнилова, спровоцированного самой властью (как Горбачев своим поведением спровоцировал ГКЧП), возможен иной вариант раскрутки событий. Ясно, что после Корнилова непременно должен был прийти Ленин (как после ГКЧП – Ельцин). Кстати, и в том и в другом случае многие это видели и понимали.

? **М.С. Пальников**, ИНИОН РАН:

Каковы, с Вашей точки зрения, наши перспективы – Ваш, так сказать, прогноз на воспроизводство русской смуты? Почему я задаю этот вопрос? У нас очень плохая демографическая статистика – вымирает население. Официально – примерно 750 тыс. человек в год. В то же время все ведущие кардиологи страны утверждают, что смертность только от сердечно-сосудистых заболеваний составляет миллион триста человек в год. Это существенная разница. Так или иначе население стремительно исчезает. Появится ли в ближайшее время какая-то критическая масса, чтобы еще какую-то бучу устроить?



В.П. Булдаков:

Относительно «плохой» демографии хотел бы заметить следующее. Тут есть, чем себя утешить. После Гражданской войны последовал резкий рост рождаемости, хотя очень заметно выросла и суицидальность населения. То есть социальная среда ответила на потери и стрессы Гражданской войны действием неких компенсационных механизмов. Как они работают – ответа нет до сих пор. Между прочим, последствия революции (смуты) надо искать и в демографическом измерении. И они могут оказаться весьма неоднозначными. Ну, а нынешняя российская демографическая проблема – это часть проблемы всей современной цивилизации. Как ее решить, не знает никто, хотя создаются объемистые сочинения о том, как повысить рождаемость в России (мне они кажутся сборниками благих намерений). На что здесь уповать – я тоже не знаю. Вероятно, на естественные репродуктивные процессы – народ России пока не созрел для социального хосписа. Ждать от власти, что она будет вести стимулирующую демографическую политику, увы, не приходится. Формально она может проводить те или иные «правильные» мероприятия. Дело, однако, в том, что сейчас наступило время, когда она (в отличие от прошлого) стала независимой от количества и качества людей, которыми управляет. Объективно ей нужны только «мартышки», которые будут качать нефть, и «обезьяны», которые будут охранять трубу, по которой она потечет в обмен на продовольствие. Вот и все. Я об этом уже писал.

Казалось бы, воспроизвести очередной виток русской смуты некому. Но это не совсем так. Современная власть слишком «истончилась», несмотря на привычку «топать ножкой». К тому же власть у нас не столько свергают, как она рушится сама.

И.И. Глебова: Коллеги, мы все время срываемся в обсуждение. Давайте не будем себя ограничивать и наконец перейдем к нему. У кого-то есть реплики, суждения?



И.Б. Чубайс:

Я по поводу Брестского мира. Это не мое открытие, – это совершенно четко установил профессор Базаров. В чем причина Брестского мира? Россия была обречена на победу, потому что Антанта выиграла войну. Даже если бы Россия ничего не делала, – она все равно выиграла бы. То, что сделал Ленин, – это государственное преступление. Почему он это сделал? Две причины. Одна – откат немцам: он получал от них деньги и надо было что-то отдать им. А вторая причина в том, что Россия совершенно не принимала большевизм. Выборы в Учредительное собрание это показали: большевики на выборах проиграли. Опросы в армии свидетельствуют: несмотря на бесконечную пропаганду, армия не поддерживала большевиков. Две трети было против.

Армия угрожала не немцам. Она была угрозой Ленину, поэтому ее следовало распустить и создать новую, рабоче-крестьянскую Красную армию. И по Брестскому миру Россия должна была распустить армию (хотя реально приступила к этому еще до него).



С.В.Беспалов, ИНИОН РАН:

У меня полувопрос-полуремарка. Вы закончили свое выступление, сказав: если у нас когда-нибудь закончится смута, это будет связано с изменениями на клеточном уровне. С этим сложно спорить, если понимать общество на органическом уровне, как, судя по всему, Вы его понимаете. Но если фиксировать любой момент истории развития этого организма, мы, наверное, сможем увидеть какое-то количество клеток, которые пытались переродиться, но отторгались системой. В начале XX в. таких переродившихся клеток было много. И, может быть, если бы не случилась Первая мировая война, процесс перерождения принял бы необратимые формы.

Как Вам кажется, что необходимо, чтобы по новой запустилось клеточное перерождение?

В.П. Булдаков: У меня нет таких рецептов.



А.А. Ильюхов, Государственный университет управления:

Я тоже занимаюсь проблемой революций, – в частности Октябрьской и вообще 1917 г. И пришел к выводу, который, собственно, не является открытием: в 1917 г. никаких двух революций не было. Я взял еще лет 15 назад, сопоставил события Французской революции и посмотрел динамику революции российской. Мне показалось, что это совершенно одинаковые процессы. Что касается внутренней динамики, то она идет справа налево. Теперь о событиях Октября 1917 г. – была ли там альтернатива. У государства альтернативы не было – только диктатура: левая или правая – монархическая или военная. Скорее, даже военная, учитывая, что здесь были реальные силы. Вообще внутренняя диалектика революции прослеживается везде, хотя, конечно, обстоятельства разные. Например, между Жирондой и якобинцами – четыре года, а у нас между Февралем и Октябрем – всего шесть или семь месяцев. Так вот, я считаю, что была одна Великая революция 1917 г. Как ваше мнение, Владимир Прохорович?



В.П. Булдаков:

Я согласен – в 1917 г. была одна революция, которая вписана в более масштабный цикл смуты. Кстати, хотелось бы продолжить ответ на вопрос о Брестском мире. Я, конечно, завидую Игорю Чубайсу. С Брестским миром ему все ясно. А мне – нет. Деяния прошлого нельзя судить по современным законам.

Легче всего сказать, что Ленин совершил предательство из самых низменных (наиболее доходчивых для массового сознания) побуждений и горько сожалеть, что из-за него мы хороший кусок победителей в мировой войне для себя не оттяпали. Но он исходил из совершенно других, не всем нам известных, как оказывается, побуждений. Еще последний военный министр Временного правительства признал, что армия воевать больше не может. Даже солдаты, которые еще не сбежали с фронта, не могли, ударники также не могли противостоять немцам. Впрочем, Брестский мир состоит из многих неизвестных. Взять хотя бы проблему левых эсеров и левых коммунистов – они вели себя как «государственники»-самоубийцы, подталкивая Ленина и Троцкого к затягиванию

(бесперспективному, как видно сейчас) переговоров. У нас забывают и о таком неожиданном и для Ленина, и для Вильгельма факторе, как украинская Центральная рада. Если уж говорить о «предательстве», то его, скорее, совершила она, а не Ленин. Хотя на деле все руководствовались логикой выживания в самими же затеянным хаосе.

Возможно, Ленин учитывал и другое: ту «разложившуюся» силу, которая работает на разрушение системы, нельзя повернуть вспять. Она помимо бегства с фронта способна только грабить и мародерствовать. Единственный способ умиротворить стихию – дать ей выдохнуться. Звучит цинично, но так и было. Разрушительные силы начали работать на самоистребление. Во Французской революции случилось то же самое; это общая социально-психологическая проблема, а не вопрос о принципиальном сходстве двух революций. В конечном счете российская историческая власть выиграла от того, что маргиналы и диссипанты обескровили друг друга. Все это звучит не очень вдохновляющее, но случилось именно так.

И.И. Глебова: Еще какие-то мнения, вопросы?



О.Ю. Малинова:

У меня – короткая реплика в порядке дискуссии, которая в какой-то момент возникла при ответах на вопросы. Был задан вопрос о понятиях, к которым мы прибегаем для описания. В ответ было сказано: западными понятиями можно пользоваться с известной долей условности, как бы подставляя значения. *Мне кажется, что понятия – это очень большая проблема. Я не согласна с прозвучавшим тезисом, что эта проблема не онтологическая. На мой взгляд, совсем наоборот.* Вот посмотрите: у нас есть всего два варианта для описания, а иного инструмента, кроме как найти слова и описать, у нас нет. Один вариант – это использование языка, на котором говорили участники событий: мы можем фиксировать тот язык, анализировать наши наблюдения и с помощью этих методик попытаться что-то понять. Второй способ – мы можем попробовать изобрести какой-то «наш» язык, основанный на неких абстракциях.

Здесь что-то говорилось о непригодности для нас того языка, который изобретен западной наукой. Но мы все равно им пользуемся. Это одно. Другое: давайте посмотрим, что получается, когда мы пытаемся обойтись без этого. Описывая события в России, мы очень активно используем язык метафор, причем эти метафоры, я бы сказала, двоякого ряда. Метафоры органического ряда – это метафоры антропоморфные: мы рассуждаем о процессе, как бы происходившем с живым существом – приписываем ему какие-то поведенческие практики, рациональность и описываем намерения, интенции. Второй ряд – это метафоры, которыми мы пользуемся, рассуждая как бы о стройном механизме со встроенным интеллектом. В том и другом случае мы пользуемся очень уязвимым языком: он не объясняет, а скорее, затуманивает очень многие вещи, не давая нам их понять.

Больше всего меня настораживает, когда мы начинаем рассуждать о социуме, т.е. большом количестве людей, по-разному проживающих свои жизни, – так, как будто это один человек, какое-то одно существо. Я – историк по образованию, но политолог по принадлежности к профессиональному научному сообществу. Я понимаю всю уязвимость западноевропейского языка, но в нем все-таки есть рациональный момент: когда западноевропейская наука рассуждает об обществе, она исходит из того, что общество – это сложносочиненный организм, состоящий из отдельных индивидуумов, групп, слоев, страт. Эта логика кажется мне более правдоподобной. Даже на обыденном уровне не может быть так, чтобы такой сложный субъект, как Россия, мог исчерпывающе описываться языком органических антропоморфных метафор. Все гораздо сложнее устроено и надо искать слова для описания, адекватные этой сложности.

Мне кажется более оправданным и разумным осторожное пользование языком западноевропейской социальной науки, чем создание собственного языка. Мне, правда, это упражнение не очень близко. Я занимаюсь иным: наблюдаю за языком, на котором и с помощью которого люди осмысливали происходившие события. Так действительно можно кое-что понять, хотя и эта методика ограничена.

В конечном счете, если мы говорим о россиеведении, т.е. об изучении этого социума, следует признать: есть проблема языка описания и она реальна.

И.И. Глебова: Есть еще желающие выступить?



И.Б. Чубайс:

У меня реплика в дополнение предыдущего выступления. Все дело в том, что та социальная (точнее, псевдосоциальная) социологическая теория, которая была создана в СССР, совершенна ненаучна. И это закономерно: у нее была только одна задача – доказать победу коммунизма. Но когда Советский Союз рухнул, никто в ней не разочаровался.

Ю.С. Пивоваров: Уточняю. Не было задачи доказывать. Они же вещали от «лица» только им известной истины.



И.Б. Чубайс:

Не буду спорить, но суть в том, что исходная установка была абсолютно лжива, иллюзорна. Однако когда система рухнула, никто не прибежал со своим академическим дипломом и не сказал: все, мол, я ничего не понимал. Наоборот, сейчас все больше рассказывают, какие были успехи у советской философии и т.д. Конечно, нужна совершенно новая теория, новый подход. Кстати, в одной из последних моих статей я показываю, что в СССР не было социальной науки, а потому сложившиеся представления о нашей стране в XX в. совершенно неправильны.



Ю.С. Пивоваров:

Смотрите, что сказал Игорь Борисович <Чубайс>: государство рухнуло, была лживая социальная наука. А ведь большевики предупреждали: государство отомрет. К слову сказать, не надо, господа, недооценивать большевиков. Они как раз выполнили все, что обещали: обещали разрушить церкви – и разрушили, обещали, что государство рухнет...

Я думаю, что и доклад Владимира Прохоровича <Булдакова>, и то, что сказала Ольга Юрьевна <Малинова> по поводу метафор, – все это вещи действительно очень серьезные. Ведь когда мы говорим о революции, нас переполняют эмоции, и эта избыточная эмоциональность нам мешает. Конечно, это естественно: революция всех нас так или иначе затронула.

Ольга Юрьевна <Малинова> ставит чрезвычайно важный вопрос: а как в самом деле это изучать? Вообще-то мы можем все загубить метафорами. Сказал же Владимир Прохорович <Булдаков>: для понимания революции читайте Волошина. Ну, будем мы читать Волошина – и ничего не узнаем о происшедшем на самом деле.

Ольга Юрьевна <Малинова> предлагает изучать с помощью западных понятий. Но они ведь возникли не просто так. С их помощью описывается реальность, которую видят у себя западные ученые. Представим, что здесь, в России, такой реальности нет. Владимир Прохорович <Булдаков> сегодня рассказывал, что у нас не было (и нет) общества. Т.е., по его мнению, характерной чертой русской истории является отсутствие общества. Кстати, странный путь: мы пытаемся понять нечто, констатируя его отсутствие, вместо того, чтобы говорить о том, что есть.

Мой тезис таков: нам нужен язык. Владимир Прохорович <Булдаков> написал совершенно восхитительную книгу «Красная смута». Все, наверное, читали. Но там, где он начинает строить концепцию, – там не получается. Ведь если в России все так циклично, идет по кругу, в чем тогда проблема? Видимо, как-то иначе все происходит. Но для понимания этого «иначе» у нас нет инструментария. Здесь еще раз подчеркну: мы также не можем описывать наше общество через констатацию того, чего у нас нет. Или заявляя: все другие общества меняются, а русское – нет. Я – бывший германист и могу вам ответственно сказать, что Германия на протяжении только XX в. очень сильно изменилась. Что же, с Россией все иначе?

Теперь к революционной теме. Да нет ничего общего между революциями 1917 и 1991 гг.! Там правящий слой гибнет, а здесь, наоборот, побеждает; он жертвует системой ради своего дальнейшего процветания. Не буду дальше говорить об этом, это совершенно другая тема.

Вернемся к началу XX в. Нам втемяшили, что революция 1905 г. была неудачной. А ведь все как раз наоборот. Но дело даже не в этом. Между той революцией и революциями 1917 г. нет почти ничего общего. Это различные типы социальных, ментальных и прочих событий. И Октябрь из Февраля прямо не вычитывается. У них различные исторические «биографии». А.И. Солженицын, кстати, не понял этого. Февраль стал громадной неудачей, всю вину за которую свалили на Временное правительство. А ведь в него вошли представители самого делового поколения русских интеллектуалов и интеллигентов – самого умелого, прошедшего все эти Земские и Городские союзы,

партии и т.п. Это были люди практики и дела. Но и они не сумели удержать вал «почвенной революции». Их задавил «век масс».

Все это нужно понять. А для этого необходимы адекватные язык, теория. Без этого мы постоянно будем оперировать метафорами. Игорь Борисович <Чубайс>, например, говорит о классах, пользуясь западным языком. Ну, не было у нас классов в западном смысле, не сложились они в России!

У нас другой тип сознания и реальность иная. Для нее нужен свой язык. На мой взгляд, задача центров, которыми руководят И.Б. Чубайс, И.И. Глебова и др.: попытаться найти, выработать свой научный язык, свой понятийный аппарат. Они будут приняты при условии, что сообщество с их помощью сможет что-то анализировать. Только те лекарства используются, которые приносят пользу.



О. Ю. Малинова:

Юрий Сергеевич <Пивоваров>, Вы говорите, что понятие «класс» к России неприменимо. А ведь люди в России его использовали для описания нашей социальной реальности и, оперируя им, меняли эту реальность. Это социальный факт. Потому-то мне и кажется возможным анализ языка, которым современники описывают свою реальность. Акцент делается на то, какой смысл люди того времени вкладывали в определенные понятия и, пользуясь ими, означивали реальность.

И еще несколько слов по поводу того, как приживается изобретаемый нами язык. Я не разделяю оптимизма Юрия Сергеевича <Пивоварова>. Наука – это тоже сообщество людей, определенным образом устроенное. Уважаемый докладчик говорил, что у нас не было и нет общества. Я, конечно, полностью этого мнения не разделяю, но, безусловно, некий дефицит социальности, о котором еще П.Н. Милуков писал, имеется.

Это сказывается на организации и активности научного сообщества. Поэтому так актуальна задача выстраивания сообщества, налаживания необходимых для этого коммуникаций. Эту задачу мы все корпоративно должны решать. Без этого ничего не получится, какой бы язык мы ни изобрели.



И.И. Глебова:

Меня наше обсуждение наводит на довольно простую мысль: революция – чрезвычайно сложный объект исследования. Стратегии его освоения должны быть адекватны его сложности. Чем больше точек зрения, ракурсов описания мы находим, тем объемнее (стереоскопичнее) наше представление об объекте. И наличие разных, конкурентных языков описания объекта – это, скорее, плюс, чем минус. *Наша проблема – не в избыточности, а в недостаточности и упрощенности познавательных подходов.*

Революция остается проблемой и истории, и историков, и общества – в том смысле, что она остается непонятой и потому непонятной. На нее не выработан какой-то солидарный взгляд, отличный от советского. И дело здесь вовсе не в метафоризации языка описания революции, а в ее продолжающейся идеологизации. Социальная заданность исследовательской позиции приводит к тому, что процесс «добывания смысла» (т.е. понимания) этого сложного события превращается в процесс «убывания» (и даже «убивания») смысла. Порочны сами исследовательские стратегии, нацеленные не на понимание, а на упрощенную идеологизированную оценку революции. Это, с одной стороны. С другой – *взгляд на революционные события остается государственно- (или, скорее, владе-) центричным – в противоположность антропоцентричному.* Наше понимание революции не центрируется на человеке. Мы почти не задаемся вопросом: способствовала ли революция свободному и позитивному самоосуществлению человека и гуманизации общества.

Революция – это в конечном счете не история неудачного, слабого царя и безответственных интеллигентов, падения доверия к власти и роста общественного активизма и претензий, история не «самораспада» монархии и «саморазвала» имперской системы. Это история того, как удержаться от всеобщего насилия, анархического торжества всех над одним и не допустить насилия над социумом, деспотического торжества одного над всеми. Т.е. *проблема русских революций (то, что их объединяет) состоит в том, как совместить порядок со свободой, не разрушив социальную организацию, культурные нормы и балансировки и не ушибив при этом человека, не «умалив» личность.*

Давайте попробуем с таких позиций взглянуть на пред- и постреволюционную Россию. Тогда николаевское самодержавие следует характеризовать не столько как аутичную («глухую», «слепую»

и безнадежно тупую) власть, но как власть, вписанную в социальный порядок, который, по крайней мере, не мешал свободной самореализации и культурному росту личности. Это не насильничающая, не ломающая через колено, не культивирующая худшее в человеке власть. Доказательство тому – явление общественников: на закате эпохи Грозного или Петра I, не говоря уже о Сталине, реформаторы (как и заговорщики) не рождаются – это продукт либеральных порядков. И в этом смысле пугающим выглядит наше агрессивное (и какое-то даже брезгливое) неприятие Николая II на фоне возвеличивания Сталина. *Любовь к власти-насилию – это вырожденческий социальный проект.* Мы не способны отдать должное власти, «которой нет», – а ведь только с ней возможны диалог и компромисс, а на этой основе – рост общества в России. Этого и общественники не поняли, за что и были наказаны: они сбросили слабую николаевскую власть, а им «ответили» большевики с освобожденным народом (так декабристы восстали против «мягкой» власти Александра I, а рассчитался с ними Николай I).

Кстати, и на общественников (т.е. в широком смысле – на интеллигенцию) можно по-разному смотреть: как на «смутный» (антисистемный) элемент и основной культурный, модернизационный потенциал системы. Ведь главный отрицательный итог революции – не «спад» государства и ужатие пространства, а уничтожение важнейшего традиционного слоя и образа жизни – системы ориентиров, норм, опыта и культурного запаса, которые нес в себе просвещенный, европеизированный, интеллигентный элемент. Следствием этого стал цивилизационный откат и закрытие многих прошлых социальных перспектив. Однако такой смысловой ракурс высвечивается, только если смотреть на революцию с антропоцентричной точки зрения.

Скажу несколько слов об иных ракурсах понимания революции и типологизации революционного процесса XX в.

Во-первых, очень сложно сравнивать позднесоветскую и позднесоветскую эпохи. Ситуация в России накануне 1917 г. была прямо противоположна той, что сложилась в СССР к середине 1980-х годов. В начале XX в. речь шла о сохранении равновесия в рамках системы, признавшей универсалии западной социальной модели (рынок, частная собственность, ограничение власти, права и свободы человека) и осознававшей сложность, плюральность, противоречивость собственной социальности. Системным недостатком были неразвитость, незрелость общецивилизационных форм и процессов (иначе говоря, элементарная отсталость, бедность, культурная ограниченность). Из-за этого перспективы стабильности системы были чрезвычайно ограничены: внутренние конфликты или внешние угрозы могли легко разрушить новые и еще не очень эффективные институциональные рамки. В конце XX столетия СССР был поставлен перед необходимостью создания (а не воссоздания) таких форм и процессов, причем на качественно ином, более сложном цивилизационном уровне. Историческую рамку для инновационных задач создавало советское наследие: долгий опыт беспрецедентного для западного мира авторитаризма, подавлявшего все источники цивилизованного развития и требовавшего от населения только пассивной адаптации к заданным условиям существования.

Поэтому и революции начала и конца XX в. – плохообъединяемые явления, хотя в них, безусловно, были (формально и по существу) сходные тенденции. Одна из внешних, бросающихся в глаза – определенная цикличность революций по типу социальный кризис/взрыв – компенсаторный откат (в политическом отношении проявляется как революция/реставрация). Отсюда – цикличность в прочтении революции: от хаотизации власти (властесмуты) – к социальному взрыву и анархии (общей смуте) – к стабилизации власти (властепорядку) – к социальному упорядочиванию.

Кстати говоря, между революциями возможна и такая смысловая переключка. В начале XX в. за счет немногих были расширены социальные перспективы подавляющего большинства. Оно затем расплатилось за захват и передел многомиллионными жертвами, фактически утратой себя (собственной идентичности). Ответом на революцию большинства стала революция подавляющего меньшинства конца XX столетия, обогатившегося за счет всех. В этом смысле революция «верхов», снявшая всякие ограничения с их эгоистической самореализации, обесмыслила революцию «низов», похоронив ее основные завоевания.

Во-вторых, при помещении русских революций в общеевропейский контекст в них высвечивается «европейский фактор». Так, в феврале 1917 г. явно сработала общая для России и Европы тенденция – эмансипационная, требовавшая осовременивания, либерализации всех сфер жизни, демократизации политики. В большевистской же революции победили тоталитарная тенденция к торжеству массы над культурным меньшинством, над личностью и социалистический

тренд (большевики – действительно авангард мирового социалистического движения, нашедший точки соприкосновения с примитивным «почвенным», общинно-социалистическим мировоззрением).

И наконец, последнее. *Специфика вполне современной (по времени прохождения) русской революции – в том, что она против современности, ее достижений и ее людей.* Отсюда, кстати, ее антиевропейскость. Она – антиинституциональна, антикультурна. Она низвергла социум в дикость, раскрыла в людях все худшее, что сдерживалось культурой и государственным насилием, вывела на поверхность худшие, т.е. наиболее отвязные человеческие типы. Русская революция современной эпохи привела к такому торжеству архаики, которого не заметно в более ранней, Французской, т.е. к Смуте. Поэтому вполне адекватным кажется ее прочтение как выход в хаос, торжество русской аморфности, массовых хаотических движений. Расплавляются все и всякие структуры, срываются нормы, происходит обвал культуры. О чем «Красная смута»? Об этом расковыивании, расплавлении. Поэтому основные сценарии будущего во многом оказались обращены в прошлое. Отсюда, как мне кажется, – аналогии со Смутой начала XVII в., европейскими средневековыми народными движениями.

Но это не вся правда о революциях 1917 г. Народная смута – это только часть большого
лы, работали разные

И.И. Глебова: Уважаемые коллеги, свое время мы практически исчерпали. Может быть, будем завершать? Владимир Прохорович <Булдаков>, Ваше последнее слово сегодня.



В. П. Булдаков:

Я не собираюсь много говорить. Разумеется, на высказанные замечания у меня есть контрдоводы, но приводить их – значило бы пустить дискуссию по второму кругу. Для меня важно другое. Я сам имею обыкновение вольно или невольно (обычно невольно) провоцировать ученое сообщество. И если в ответ слышу нечто провоцирующее меня самого – это считаю полезным. Смута в России – это своего рода «открытый текст», допускающий множество инверсий и толкований. Хотелось бы в связи с этим особо подчеркнуть согласие с неоднократно прозвучавшим здесь тезисом: для российской смуты (и не только для нее) мы все еще не имеем адекватного языка описания. Ну и, как всегда, страдаем от того, что наши эмоции готовы в очередной раз превратиться в «теории».

Благодаря нашей дискуссии я понял, что, прежде чем говорить о смуте в России, следовало бы сочинить трактат на тему: «Стабильность по-русски». Насколько комфортно изнутри это состояние?

Надеюсь, что присутствующим было сегодня не скучно – это уже хорошо. Мне самому скучно не было. За это – спасибо.

И.И. Глебова: Спасибо, уважаемые коллеги, за участие в сегодняшнем семинаре. Он был, как мне кажется, весьма небесполезным.

Материалы семинара подготовлены
к публикации *И.И. Глебовой* и *Е.Ю. Тесловой*